

ИВАН КОНЕВСКОЙ:
ПЕРСПЕКТИВЫ ОСВОЕНИЯ
ТВОРЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ

АЛЕКСАНДР ЛАВРОВ

«Он один из классиков русской поэзии, известный лишь посвященным <...>» [Святополк-Мирский: 29]. Эта аттестация, данная Ивану Коневскому (псевдоним Ивана Ивановича Ореуса; 1877–1901) в 1920 г. князем Д. П. Святополк-Мирским, может быть повторена и сейчас, более чем сто лет спустя после трагической гибели поэта. Для историков русской литературы рубежа XIX–XX веков творчество Коневского обычно оставалось на периферии их внимания, а тем исследователям, которые проявляли живой интерес к этому своеобразнейшему и духовно вполне сформировавшемуся, несмотря на раннюю смерть, поэту-мыслителю, фатально не удавалось довести результаты своей работы до читателя. В 1930-е гг. первое научное издание сочинений Коневского подготовил Н. Л. Степанов, но оно так и не вышло в свет; лишь десятилетия спустя была опубликована в извлечениях написанная для него вступительная статья ученого (см.: [Степанов: 179–202]). В последние годы жизни интенсивно занималась изучением Коневского З. Г. Минц; в 1975 г. она прочитала обобщающий доклад о нем в Тарту на конференции «Творчество А. Блока и русская культура XX века», а за несколько месяцев до кончины, в июле 1990 г., на IV международном славистическом конгрессе в Харрогейте выступила оппонентом по докладу Дж. Д. Гроссман «Иван Коневской: Святогор русского символизма», сделав фактически содоклад, содержащий подробную аналитическую характеристику личности и творчества поэта. Однако оформить надлежащим образом свои изыскания и размышления она не успела; завершенной статьи об Иване Коневском у З. Г. Минц нет. Лишь в последние десятилетия

исследовательское внимание к Коневскому несколько оживилось; в частности, появились два издания его сочинений — том, объединивший все ранее опубликованные тексты Коневского, дополненные разделом «Иван Коневской в стихотворениях, критических суждениях, воспоминаниях современников» (см.: [Коневской 2000]), и собрание стихотворений поэта, в котором использованы материалы из архива Коневского (см.: [Коневской 2008]).

При жизни Коневского вышла в свет всего одна его авторская книга — «Мечты и Думы» (1900), включавшая стихотворения и прозаические этюды. Преобладающее большинство стихотворений и избранные произведения в прозе составили сборник «Стихи и проза. Посмертное собрание сочинений» (М.: Скорпион, 1904), подготовленный другом покойного поэта Н. М. Соколовым и изданный под общей редакцией и со вступительной статьей Валерия Брюсова. В этих двух книгах, однако, представлена лишь часть творческого наследия Коневского; значительное количество его прозаических опытов, а также художественные переводы западноевропейских авторов, выполненные им в прозе, остались не востребованными в архиве.

Что касается самого архива Коневского, доступного на сегодняшний день исследователям, то приходится с сожалением констатировать, что он сохранился далеко не в полном объеме. Бумаги поэта остались у его отца, генерала И. И. Ореуса, который после гибели сына предоставил их Н. М. Соколову; предоставил явно не всё, что было тогда в его распоряжении: не были переданы документы и материалы, касающиеся биографии поэта (как свидетельствует Брюсов в статье «Иван Коневской (1877–1901 г.)», генерал «не позволил сыну выступать в литературе под своим именем, заставив его взять себе все скрывающий псевдоним», и даже после безвременной кончины «не разрешил назвать в печати настоящее имя поэта» [Брюсов: 485]), письма к нему (уцелели лишь письма Брюсова, возвращенные их автору и отложившиеся в его архиве), ранние творческие опыты. Горячо любивший сына и тяжело перенесший его утрату, старик Ореус оставался невосприимчивым к его творческим опытам и не разделял его эстетиче-

ских пристрастий; это не могло не сказаться и на его отношении к рукописям, обладателем которых он стал. В письме к Брюсову от 6 октября 1901 г. Ореус-отец обещал переслать ему рукописи Коневского: «...разумеется, исключив те, которые никому кроме меня не интересны»; по выходе же в свет посмертного издания сочинений сына отдал распоряжение Брюсову (2 января 1904 г.): «...оставшиеся у вас рукописи прошу *сжечь*, — конечно, кроме тех, которые еще не напечатаны и которыми вы предполагаете воспользоваться для ваших изданий» [Переписка: 538, 548]. Вполне вероятно, что именно таким образом генерал Ореус поступил с оставшимися у него рукописными материалами, которые не были переданы Соколову и Брюсову; впрочем, судьба архива Ореуса-отца, умершего в 1909 г., неизвестна. Тем самым оказались утраченными многие ценные материалы, главным образом касающиеся биографии Коневского и его жизненного окружения (остаются неустановленными, в частности, адресаты ряда стихотворений Коневского, а также некоторые отраженные в них жизненные реалии).

Известно, что от Соколова часть рукописей Коневского поступила к Брюсову; неизвестно, однако, какие рукописи остались у Соколова: никаких следов его архива не обнаружено. Материалы Коневского, переданные Брюсову, частично отложились в его архиве (РГБ. Ф. 386), частично были переданы в Государственный Литературный музей и затем в ЦГАЛИ, составив основу личного фонда Коневского (ныне: РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 1); однако в начале 1930-х гг., когда архив Брюсова еще находился в распоряжении его вдовы, И. М. Брюсовой, часть материалов Коневского была передана Н. Л. Степанову для подготовки упомянутого выше несостоявшегося издания его сочинений. Впоследствии большая часть этих бумагполнила личный фонд Коневского (РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 2, 3), однако меньшая часть на государственное хранение так и не поступила. Таким образом, каждый этап миграции архива Коневского характеризуется очередным умалением исходного комплекса текстов. Имеются отдельные определенные сведения о том, что изначально входило в этот комплекс (в том, что

аккуратный до педантизма Коневской бережно сохранял свои рукописи и полученные им письма, сомневаться не приходится) и чем мы располагаем на сегодняшний день. Так, в одной из записных книжек Коневского имеется регистрационная запись: «Переписка моя с Веселовым (со времени разлуки с ним 30 мая 1896 г.)» — и далее перечислены 6 писем к гимназическому другу А. М. Веселову с точными датировками (с 10 июля 1896 до 4 июля 1897 г.) и 5 ответных писем Веселова [РГАЛИ: Ф. 259. Оп. 1. Ед. хр. 17. Л. 60]. Ни одно из указанных писем не выявлено, известны и опубликованы лишь 2 письма Коневского к Веселову, остающиеся за хронологическими рамками этого перечня: от 22 ноября 1897 г. и 9 октября 1898 г. (см.: [Лавров: 167–174]). Вообще из писем Коневского к товарищам по гимназии и Петербургскому университету сохранилась лишь малая часть.

Остается признать, что большое количество документальных источников для исследования жизненного пути и творчества Коневского утрачено — и, скорее всего, безвозвратно. Тем не менее, значительная часть архива Коневского, и прежде всего его творческие рукописи и предварительные заготовки к ним, сохранилась. Некоторые из этих произведений были напечатаны вскоре после гибели Коневского и вошли в его посмертное собрание, некоторые введены в читательский оборот в новейшее время, однако многочисленные рукописи (философские этюды, аналитические характеристики писателей, путевые заметки, записи дневникового характера и т.д.) остаются неизданными. Те же тексты Коневского, которые были опубликованы в начале XX в., не всегда с необходимой точностью воспроизводят оригинал: сокращения и редакторская правка рукописи считались в ходе подготовки этих публикаций приемлемыми. Наглядный пример неаутентичного воспроизведения текста — публикация статьи «Мировоззрение поэзии Н. Ф. Щербины», которую Коневской незадолго до смерти представил в альманахе «Северные цветы»¹, где она и

¹ См. письмо Брюсова к И. И. Ореусу-отцу от 4 или 5 октября 1901 г. и ответное письмо от 6 октября [Переписка: 537, 539].

появилась (и в той же редакции перепечатана в новейшем издании сочинений Коневского — см.: [СЦ: 194–214; Коневской 2000: 302–318]. Сравнение опубликованной версии с беловым автографом статьи [РГАЛИ: Ф. 259. Оп. 3. Ед. хр. 16. Л. 7–20 об.] (который, видимо, и был предложен автором для альманаха) свидетельствует о том, что с текстом Коневского в данном случае обошлись крайне своевольно: сняты начало и конец статьи, изъяты несколько фрагментов из ее середины, опущен ряд стихотворных цитат. Эти сокращения коснулись отнюдь не длинных или необязательных деталей и мелочей, но вполне концептуальных развернутых фрагментов. Как пример приведем изъятую заключительную часть статьи, в которой анализ поэзии Щербины дополняется параллелями с творчеством А. Н. Майкова:

Чтобы довершить характеристику мировоззрения Щербины, которое, как видно было, вскормлено было пластикой и образностью классической древности в их цельном и точном виде, а религию и метафизику ее обновляло в осложненном виде германского умозрения, остается отметить одну более частную, но чрезвычайно знаменательную черту. Нельзя не обратить внимания, при изучении всего объема стихотворений этого служителя т<ак> н<азываемой> «античности», что в этой культуре его влекут и очаровывают только те периоды ее, которые созданы были вполне обособленным еще характером эллинских племен, а все творчество Рима не возбуждает в нем, по-видимому, никакого участия. Но и уединенно эллинский быт и строй чувств и мыслей внушил его поэзии вполне достойные его и прочувствованные мотивы только характером своей пластики и полусвященной лирики, которая находила свое выражение в дифирамбах, одах, гимнах и трагических хорах. Поверхностным и незначительным является все, в чем Щербина задумывает воспроизводить тон идиллии, этого наиболее отличительного для александрийских периодов рода древней поэзии. Прямо постыдным и оскорбительным для памяти поэта художественным и мыслительным недоразумением представляются его сатиры и эпиграммы, этот особенно свойственный латинцам поэтический склад, отдел, занимающий в собрании его сочинений даже немалые размеры, но почти неудобочитаемый.

Между тем, если взглянуть на творчество другого русского стихотворца, славящегося как воспроизводитель классической

древности, Ап. Н. Майкова, бываешь поражен тем внушительным преобладанием, каким пользуется в его кругозоре культура и гражданство Рима и вообще Италии. Один из краеугольных камней его поэтического творчества — александрийские стихи, прямо дающие полную картину римского племени и общественности (Древний Рим). Что же касается до его отношения к самобытной Элладе, то нельзя не вспомнить на этот счет метко обобщающего суждения со стороны такого понимающего классического мира, как проф. Зелинский^{*}, о том, что из эллинской среды Майковым были ошущены только картины александрийских идилликов². От себя прибавим, что тем же задушевым чутьем идиллии сложился тот отдел поэзии Майкова, который один может сравниться с его прославлениями римского могущества — цикл детских настроений, обвеянных обстановкой русской деревни (во главе их — такая драгоценность его творчества, как идиллия: «Рыбная Ловля»).

Замечательно, для проверки майковского отношения к глубочайшим замыслам эллинской религии, его изображение полуденного сна «великого Пана»³. Этот таинственный бог и Майкову внушает, правда, чрезвычайно чуткое и вещее внимание полуденной тишины, но с начала до конца его напев не призывает ни к чему, как только к тому, чтобы не был возмущен безмятежный глубокий сон великого жизнедавца. Можно сказать, что для Майкова Пан есть лишь верховный гений-хранитель детски мирного благоденствия, его освящение. Между тем, в стихах Щербины не тот ли самый бог Целокупности явственно чувствуется в дуновениях приближающихся бурь, «в лоне природы, в борьбе и волненьях, в страстных вакхических мира стремленьях»?⁴ Не рису-

* в его превосходном очерке: «Античный мир в поэзии Майкова», читанном на вечере, посвященном памяти Майкова, Фета и Тютчева (осенью 1898 г.). (*Примеч. Коневского*).

² Статья филолога-классика, истолкователя античной культуры Фаддея Францевича Зелинского (1859–1944) «Античный мир в поэзии А. Н. Майкова» была опубликована в «Русском вестнике» [РВ: 138–157].

³ Подразумевается стихотворение «Пан» («Он спит, он спит...», 1869). См.: [Майков: 137–139].

⁴ Заключительные строки стихотворения «Узник» («Черные стены суровой темницы...», 1851). См.: [Щербина: 157]. Выше в статье

ется ли он воображению в трагических восторгах этого поэта, как олицетворенная священная энергия всего мира? Он же — и властитель вечного вешнего блаженства, он «сладко дремлет на солнце»⁵, но это уже вовсе не та беспечальная, туманно грезящаяся дремота среди камышей, какую представлял себе Майков, а покой всезрящий, отмеченный великолепным героическим сознанием своей внутренней мощи.

Значит, по-видимому, Майкову наиболее понятны и близки пребыли в «древнем мире» образы его вполне внешних прелестей и гармоний. Выражениями его нежной думы показались несложные позднегреческие идиллии, которые при том представились автору даже с большей жизненностью, когда им пересажены были на русскую почву. А гордая, жадная и творческая страсть эллино-римских народов виделась ему ни в чем, как в только извне движимом государственном управлении и построении римской власти. Он задивовался только на этот образ гармонии огромной, но мертвой, механической, которая содержалась в единстве лишь мастерским рассудочным распределением общественных отправления и сосредоточивающим самовластием высокомерных, замкнутых в себе волей. Мимо внимания его прошла та гармония, то кровное общение душ, которому далеко было до сплочивающей, сколачивающей железом властительности Рима, но которое в недолговременном своем действии проникала таким обаянием небольшие городские общины эллинов и сходбища их на торжественных празднествах — обрядовых зрелищах и играх.

Щербина с задушевной любовью вслушался единственно в благоговейные строфы празднественных од и тайнодейственных гимнов и в величавые размеры трагических хоров: эти звуки слышались ему и за вдохновенными размышлениями философов, и за великолепием мраморных изваяний. В них чувствовалось ему истое объединение человеческих и мировых лиц, перед которым представлялось ничтожным изящество и величие Рима.

Коневской приводит текст этого стихотворения без первых двух четверостиший [Коневской 2000: 314].

⁵ «Сладко на солнце дремлю я...» — первая строка стихотворения «Весенний гимн» (1851). См.: [Щербина: 172]. Коневской в статье приводит весь текст стихотворения непосредственно перед данным фрагментом [Коневской 2000: 318].

И так не был ли им сделан хоть шаг в сторону той цели, о которой упомянуто было проф. Зелинским в том же рассуждении о Майкове? Там отмечено было, что Майков не может быть назван деятелем того движения, которое должно наступить и которому принадлежит имя «Славянского Возрождения Древности» подобно тому, как XVI век назван Итальянским возрождением, век Гёте и Шиллера Германским возрождением классического мира⁶. Но выдающуюся характеристику этого движения профессор-классик признавал в книге полуславянина* Ницше о древнегреческой драме: “Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik” — книге, по выражению Ф. Ф. Зелинского — «чудной, истинно вакхической»⁷. Вообще, глубокое понимание этой стороны древнегреческого духа, которая обнаруживалась с наибольшей полнотой в древнем культе Диониса-Вакха, которая, по новым исследованиям, и сложила хоровые части трагедий, ядро их действия, тот же знаток древности признавал существенным признаком, который должен принадлежать новому славянскому восприятию древности. И не присуще ли это свойство в высокой степени всему настроению творчества Щербины, для которого весь мир людской и природный представлялся «бегом вакхического

⁶ В статье о Майкове Зелинский, выделяя эпохи первого, романского возрождения и второго, германского возрождения, вопрошает: «...взоры людей обращены на восток: кто будет поэтом третьего, *славянского* возрождения?» — замечая следом: «Не был им, конечно, тот талантливый и симпатичный поэт, которому посвящается настоящий очерк» [РВ: 140].

* в неотдаленном поколении с отцовской стороны — польского происхождения. (Nieski). (*Примеч. Коневского*).

⁷ Упоминается книга Фридриха Ницше «Рождение трагедии из духа музыки» (1872). Говоря о «вакхизме александрийских барельефов, красивых и сладострастных», Зелинский добавляет: «...это, пожалуй, и есть та почва, на которой произойдет слияние между греческим и славянским духом; недаром полуславянин Фр. Ницше первый ее открыл и возвестил о ней в своей дивной, истинно вакхической, книге о “рождении трагедии”» [РВ: 144–145].

хора», и среди его «кликков, плясок и песен»⁸ поэт переживал нескончаемое самоутопление и самовозрождение?

10–28 февр. 1901.

Иван Ореус

[РГАЛИ: Ф. 259. Оп. 3. Ед. хр. 16. Л. 18 об.–20 об.]

Одним из важнейших источников для осмысления творческой личности Коневского являются его записные книжки; в них аккумулированы основные исходные импульсы для многообразных последующих вариаций самовыражения в стихах и прозе. Сохранилось 11 записных книжек за 1893–1900 гг., в них занесены черновые автографы стихотворений, дневниковые записи, заметки информационного и регистрационного характера, тематические описательные и аналитические фрагменты. Последние представляют особый интерес; созерцательный характер поэтической индивидуальности Коневского нагляднее всего раскрывается в зафиксированных им описаниях городов и местностей, во впечатлениях и рефлексиях, порожденных впервые увиденными различными ликами земли. В книге Коневского «Мечты и Думы» произведения этого рода скомпонованы в два раздела — «Видения странствий» и «Умозрения странствий»; входящие в них стихотворения и прозаические этюды написаны по следам двух путешествий по Европе, предпринятых автором в 1897 и 1898 гг. Ближайший аналог этим текстам правомерно усмотреть в ландшафтных медитациях европейских поэтов-романтиков; преемственную связь с ними подчеркивает сам Коневской, включая в виде эпитафий к разделам цитаты из Вордсворта, Шелли и Китса. Свои «видения» и «умозрения» Коневской начал фиксировать, еще будучи гимназистом; уже во 2-й записной книжке (лето 1894 или 1895 г.) содержится фрагмент, написанный под впечатлением от Гельсингфорса («Одинокое путешествие в Гель-

⁸ Обыгрываются строки стихотворения «Предсмертное чувство» (1843–1844): «И отстаю я от хора людей // В этом вакхическом беге, среди кликов, // Плясок и песен...» [Щербина: 155]. Стихотворение цитируется выше в тексте статьи [Коневской 2000: 315].

сингфорс (“чтоб задать форс”» [РГАЛИ: Ф. 259. Оп. 1. Ед. хр. 4. Л. 64]):

Гельсингфорс — в полном смысле слова дышащий и проникнутый полной жизнью город. Живость эта — не грубая и грязная хлопотливость промышленных и торговых приморских городов, вроде Марсели, Одессы, Ливерпуля, не та живость, которая воплощает в себе всю безобразную и уродливую сторону современной культуры. Нет, жизнь Гельсингфорса кажется мне проникнутой какой-то светлой, но возвышенной и деятельной жизнерадостью, которая прежде всего не может существовать без красоты. Куда ни ступишь в Гельсингфорсе, всюду — красота и изящество, так что просто загляденье, любо-дорого смотреть. Чувствуется, что главный нерв жизни города — служение музам в науке и искусстве, а промышленность и торговля лишь второстепенные отправления его. Я не видел почти ни одного здания в Гельсингфорсе, которое не носило бы на себе оттенок изящества, чего-то с любовью отделанного и отточенного. Этой любви гельсингфорсцев к созданию красивой обстановки удивительно благоприятствует и естественное его местоположение, представляющее собою чудесное сочетание красот морской и земной природы. Стиль искусственной красоты в Гельсингфорсе скорее всего приближается к древнему классическому, а иногда — ренессансу*. От этого и общий колорит города близко роднится с колоритом древнегреческого приморского города, однако с довольно резко обозначенным оттенком чего-то более сложного, горячего и страстного, даже таинственного, привнесенного новыми веками. Во всем этом стройном благообразии гельсингфорсской физиономии чувствуется, однако, тот мощный порыв к *неведомой* красоте, который в свою очередь неведом был древнему миру; этот ненасытный порыв сказывается, может быть, даже именно в том многообразии и сочетании различных стилей, которое усвоила себе современная архитектура вообще, и гельсингфорсская — в частности: то на тех, то на других путях, изыскиваемых с неутомимой силой фантазии и изобретательности, современное искусство усиливается явить миру свой чудесный идеал, и... до сих пор все не может удовлетвориться ею изысканным. Вот эта-то беспре-

* Таков по крайней мере стиль главных публичных зданий: университета, сената, рейхстага, архива, банка, почтамта. Стиль частных зданий гораздо пестрее. (*Примеч. Коневского*).

дельность искания в современном искусстве чудится мне с большой ясностью и в красоте гельсингфорских строений. Но все же, любуясь на них, современная душа, жаждущая красоты, — как художника, так и простого платонического любителя ея, — может хотя до некоторой степени найти себе отраду и утоление после мучительного жгучего раздражения, которое должна возбуждать в ней гнусная облупленность, топорность и казенщина, царящая в строениях даже столица современного мира, а именно — в большинство зданий «распрекрасного» Петербурга [РГАЛИ: Ф. 259. Оп. 1. Ед. хр. 7. Л. 2–4]⁹.

Уже в этом фрагменте сказывается характерная особенность мировидения Коневского — отсутствие локализованных, дискретных описаний и впечатлений (от отдельных зданий, улиц, памятников и т.п.) и обобщенный характер наблюдений и размышлений; все частности и конкретные детали, фиксируемые воспринимающим сознанием, суммируются в некий единый образ, который воссоздается посредством дефиниций, позволяющих сквозь совокупность внешних обликов уловить и осязать некую абстрактную историко-культурную модель. От непосредственных восприятий мысль Коневского неизменно устремляется к наблюдениям историософского характера, к размышлениям, уводящим в сферы этнического, национального и культурного генезиса. Несколько таких фрагментов, в значительной части извлеченных из записных книжек, составили в посмертном издании сочинений Коневского разделы «Русь (Из летописи странствий)» и «Мысли и замечания» (см.: [Коневской 1904: 190–195, 220–232]). Целый ряд путевых заметок, содержащихся в записных книжках, Коневской включил в «Видения странствий» и «Умозрения странствий», иногда лишь с небольшими стилизованными и смысловыми изменениями и дополнениями, иногда в переработанном и более развернутом виде. Некоторые весьма содержательные фрагменты, однако, не были им доведены до печати. Так, записи, относящиеся к лет-

⁹ Негативное отношение к своему родному городу, выраженное в последних строках приведенного фрагмента, Коневской сохранил и в последующие годы. См., напр., его письмо к А. Я. Билибину от 5 июня 1900 г. [Лавров: 183–184].

нему путешествуя 1897 г. («Летопись странствия. I. 4–28 июня» [РГАЛИ: Ф. 259. Оп. 1. Ед. хр. 18. Л. 2 об.]) и имеющие поначалу отрывочный дневниковый характер («Переезд Петроград — Варшава», «Луга», «Псков», «Вильна», «Гродно»), включают фрагмент, суммирующий первые впечатления от впервые увиденных краев, которые служат в то же время своего рода трамплином для сугубо умозрительных построений [Там же: Л. 8 об.–11]:

Варшава. Западной Европой пахнуло, буквально — пахнуло; на улицах почувствовался европейский запах, составленный из неуловимых оттенков. Дома тоже слажены и отделаны так, что чувствуется — здесь народ, у которого природная стихия — строительство, мастерство, рукомеленничество; в то время как даже в Петербурге дома лишь в единичных случаях не отличаются¹⁰ хоть чуть-чуть чем-то неуклюжим и аляповатым. <...>

Польша — страна зеленовато-белая, страна бледно-зеленых ив и тополей, свесившихся над мутно-белыми реками.

Висла — река желтая — бело-желтая.

Литва — страна темно-зеленая и желтая, страна свежих, приветливых дубов, кленов, вязов, кудрявых лиственных лесов <...> С ними хорошо гармонируют сочные и пушистые звери — медведи, куницы. Она вольно и тихо переливается в угрюмое, серовато-бурое Полесье, страну мутей, гатей, тощих и длинных сосен.

Варшава — город грациозный, добродушно-щегольской, игривый, влюбчивый и легкомысленный¹¹, цвета побуревшего золота. Удаля поляка — его щегольство; великорусской неистойвой удали в нем гораздо меньше, или, по крайней мере, нет у него в ней той сиволапости, которая сказала у нас в кулачных боях с рукавицами среди снеговых сугробов или охоте на медведей с рогатиной. Польская натура готова скорее усвоить себе тонкое рыцарское копье и шпагу, ловкость и отвагу, славянская же беззаветная удаля сказала у ней преимущественно в залихватских танцах, как мазурка. У нас гусарский пошиб воплотил в себе черты польской, очень родственной ей венгерской, и великорусской удали. В поляках также бесконечно меньше также <sic! — А. Л.>

¹⁰ *Надписан вариант:* отдают

¹¹ *Далее в автографе пробел (предполагалось вписать дополнительные характеристики).*

русской тоски и недоумевающего, растерянного искания, кроткого и равнодушно-грустного русского скептицизма, столь отличного от французского — мальчишески-задорного и самотешащегося скептицизма.

В «Видения странствий» и «Умозрения странствий» Коневской включил те описания и рассуждения, которые были или индифферентны в оценках по отношению к объектам восприятия, или выражали приподнятое эмоциональное настроение путешественника, восхищавшегося и вдохновлявшегося увиденным. Эмоции и аттестации критического и даже негативного толка не были допущены автором в его «Мечты и Думы». Тем не менее они возникали в ходе путешествий по Европе и нашли свое отражение в записных книжках. Безусловно, Коневской считался с тем, что определяется современным словечком «политкорректность», когда решил воздержаться от включения в книгу, например, записи, сделанной в Базеле в июне 1898 г. [РГАЛИ: Ф. 259. Оп. 1. Ед. хр. 26. Л. 5 об.–6]:

Дух зодчества базельских зданий — какой-то попугайно пестрый оттенок в обычной затейливой орнаментировке строений средневековья и века реформации. Пестрота эта придает почти шутовской характер варварским мещанским узорам, разводам и лепным украшениям по стенам зданий. В этом сказывается особенная черточка швейцарского племени — его грузность и неуклюжесть, доходящая до мешковатой иронии над собой. Швейцарские немцы являют до некоторой степени живую карикатуру германской нации, и эта карикатура сама же себя осмеивает. В крайней вычурности базельских построек узнаешь ту крупницу, которая запала в дух великого базельца Бёклина и не без участия оказалась в создании его великолепно-цветистой в своем роде живописи. В нее же вошло нечто и из базельской *goguenardise*¹², цветистой мясистости, сознательно доводящей себя до крайности и тем хохочущей сама над собой.

Самое развернутое из высказываний подобного рода — запись (19 июля 1897 г.) о Берлине, где Коневской оказался на завершающей стадии своих летних странствий по Германии.

¹² От *франц.* *goguenard* (насмешливый, зубоскал).

Коневской и в ней верен самому себе: он не отмечает ничего конкретного; образ, порожденный созерцанием германской столицы и, безусловно, вобравший в себя размышления и оценки, к тому моменту уже прочно отложившиеся в сознании, — предельно обобщенный, но определившийся в сознании «чувствительного путешественника» совершенно однозначно [РГАЛИ: Ф. 259. Оп. 1. Ед. хр. 20. Л. 1–4]:

Берлин — город, в котором осело на иноплеменной славянской почве все отребье — грубое, но здоровое <sic! — *А. Л.*>, деятельная предприимчивая животность германской расы. С этими чертами в теснейшей связи и казарменный, бурбонский дух, проникающий его правительство и население. Дух, создавший Берлин и воссавшийся в жилы его населения, это есть именно дух всяких бродячих подонков общества, пополнявших в XVI в. и во времена тридцатилетней войны ряды ландскнехтов, дух кордегардии и солдатской харчевни, оторванный от всякой племенной почвы и исторических преданий, знающий только алчность на грабеж и удовлетворение животных похотей, и чтущий на свете, как святыню, лишь личность своего вождя: последняя душевная черта была вызвана главным образом, конечно, перешедшим в инстинкт сцеплением чисто корыстных соображений, побудивших их группировать свои мелкие позывы вокруг позывов одного сильного человека — вождя, частью же — естественным удивлением первобытного бродячего дикаря перед всякого рода проявлением физической силы, практического лукавства, настойчивости и выдержки. В сущности, и до сих пор душа Берлина, а через это — увы! — мало-помалу и всей Германии есть лишь стихийное преклонение перед преемниками власти этих диких вождей — прусскими монархами. Только это преклонение и ложится в основу современного берлинского патриотизма, и не имеет никакой органической связи с глубоким самосознанием германского народа, как не имел ее, конечно, и гонор ландскнехтов XVI и XVII вв. В среде того же разноплеменного сброда воинственных авантюристов вскормлен и тот своеобразный берлинский юмор или то, что хорошо выражается французским словом *goguenardise*, мало свойственный вообще германскому народу, но являющийся вполне естественным порождением бесшабашной походной жизни наемных орд.

Пагуба современной Германии, вырывающая ее из благороднейших устоев ее народного прошлого, это — то, что в ней задает тон бездушный Берлин, город мелкодушной и в глубочайшем смысле слова растленной внутренне наемной солдатчины; а понятие о наемности, продажности, всякой — стало быть — бесшабашности и беспринципности, заложено ведь уже в самом слове: солдат, происходящем от Sold — жалованье, харчи¹³.

В глубочайшем родстве с очерченным только что духом Берлина, растлевающим и всю современную Германию, стоит увлечение ее вообще и «молодого Берлина» в особенности нравственной проповедью Ницше. Та ведь мечтает о водворении в целом мире того же бесшабашного военного авантюризма — кулачного права, которое является закваской берлинского населения. Она ставит себе идеалом величайшего в истории изверга-кондотьера, атамана наемных дружин, Цезаря Борджиа, и это вполне естественно приходится по нутру сыновьям поклонников «юнкерского» величия Бисмарков и Вильгельмов I, еще маскировавших свои грубые ландскнехтские души под разными изречениями: “Sprüche” лютеранского благочестия вроде “für Gott, Kaiser u<nd> Vaterland”¹⁴. Да, нравственная проповедь Ницше — самое яркое проявление дикого атавизма, военной одичалости, воцарившейся в современной Германии после военных торжеств 1870 года. И пусть не удивляются многим резким контрастам между безответной, механической дисциплиной прусской солдатчины и необузданным своеволием, обуревающим дух Ницше: ведь от казарменной муштровки, лишь капральской палкой и обаянием предводительского имени связывающей буйного зверя в человеке, один шаг до бесшабашного кондотьерства, ландскнехтства или казачества.

Замечательно, что и все почти лирики — провозвестники ницшеанства: Демель, Гауптман, Пржибышевский, Гальбе — порождения того же края, населенного помесью осадков германского племени со славянскими (Шпрэвальд, Лузиция, Силезия, Познань).

Уравнивание в заключительной части приведенного фрагмента германского «ландскнехтства» с отечественным казачеством лишает возможности увидеть в инвективах Коневского

¹³ Слово «солдат» (*нем.* Soldat) восходит к итальянскому soldato от soldare — «нанимать» [Фасмер: 709].

¹⁴ «За Бога, Царя и Отечество» (*нем.*).

проявление специфически российских националистических эмоций. Русской «патриотической» германофобии поэт оставался чужд, — что не мешало ему распознавать среди многообразных ликов, увиденных им в Германии и вызвавших у него подлинное и безусловное преклонение, и тот «ландскнехтский» лик, наглядные проявления которого ему, погибшему в 1901 г., уже не суждено было воспринять.

ЛИТЕРАТУРА

- Брюсов: *Брюсов В.* Среди стихов. 1894–1924: Манифесты. Статьи. Рецензии. М., 1990.
- Коневской 1904: *Коневской И.* Стихи и проза. Посмертное собрание сочинений. М.: Скорпион, 1904.
- Коневской 2000: *Коневской (Ореус) И.* Мечты и Думы: Стихотворения и проза / Предисл., сост., коммент. Е. Нечепорука. Томск, 2000.
- Коневской 2008: *Коневской И.* Стихотворения и поэмы / Вступит. ст., сост., подгот. текста и примеч. А. В. Лаврова. СПб.; М., 2008.
- Лавров: Из архива Ивана Коневского / Предисл., публ. и коммент. А. В. Лаврова // Писатели символистского круга: Новые материалы. СПб., 2003.
- Майков: *Майков А. Н.* Избр. произв. Л., 1977.
- Переписка: Переписка [В. Я. Брюсова] с И. И. Ореусом-отцом / Публ. А. В. Лаврова, В. Я. Мордерер и А. Е. Парниса // Литературное наследство. Т. 98: Валерий Брюсов и его корреспонденты. Кн. 1. М., 1991.
- РГАЛИ: Российский государственный архив литературы и искусства.
- РВ: Русский Вестник. 1899. Т. 262. Июль.
- Святополк-Мирский: *Святополк-Мирский Д. П.* Поэты и Россия: Статьи. Рецензии. Портреты. Некрологи. СПб., 2002.
- Степанов: Иван Коневской. Поэт мысли. Из статьи Н. Л. Степанова / Предисл., публ. и коммент. А. Е. Парниса // Литературное наследство. Т. 92: Александр Блок. Новые материалы и исследования. Кн. 4. М., 1987.
- СЦ: Северные цветы на 1902 год, собранные книгоиздательством «Скорпион». М., 1902.
- Фасмер: *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка: В 4 т. М., 1987. Т. 3.
- Щербина: *Щербина Н. Ф.* Избр. произв. Л., 1970.